

Борис Цукерман

Война

Осень 1941. Позади — совхоз Красная Пойма, что рядом с ж.д. станцией Голутвино, принадлежащей старинному русскому городу Коломне. С обширных пойменных лугов над рекой Окой, студенты биофака Московского Государственного Университета убирали сено. Я работал прицепщиком на косилке, что за трактором, а иногда — трактористом. Командовал нами строгий, но доброжелательный агроном совхоза Николай Карлович Мейбом, немец, что, впрочем, тогда ещё никто не ставил ему в вину.

Работали много, дружно и было хорошо от сознания, что делаем полезное, нужное дело.

К началу сентября мы — дома, начало занятий. Не тут-то было, фашисты рвутся к Москве, необходимо строить противотанковые укрепления. Меня и ещё нескольких вернувшихся из совхоза ребят посылают на запад, где километрах в сорока от Москвы вручную, лопатами, активно роют огромные, глубокие противотанковые рвы, а по верху разбрасывают громадные противотанковые каменные надолбы. Работа тяжёлая. По сравнению с нею сенокос на Красной Пойме — санаторий.

Сделано много, но далеко не всё, что запроектировано. И вдруг в начале октября по тревоге нас перебрасывают в Москву. Едва успели: немцы в нескольких километрах отсюда высадили большой авиадесант.

Занятия на факультете уже начались. Я включаюсь. Здоровые мужики, студенты и преподаватели, почти все — на фронте. Меня в армию пока не призывают, я — белобилетник, по болезни вчистую снят с воинского учёта.

А положение на фронте всё накаляется, немцы — у черты города. Утром 16-го октября всех, всех — на срочное открытое партсобрание!! Неожиданно.

Секретарь парторганизации Университета с отчаянием в голосе: «Немецкие войска — у границы Москвы. Эвакуировать никого не сумеем, ваша судьба — в ваших руках, уходите кто как сможет, товарищи, иначе — конец!!!»

Бегу домой, звоню маме на работу. У них — то же самое. Отличие то, что уходить будут также пешком, но вместе. Сборы — не более полутора часов. Тёплую одежду — на себя, по паре белья в заплечный мешок, немного поест, что было в доме. Всё. Денег тоже почти нет.

Часа четыре дня. На Калужской площади у Института Цветметзолото, где мама работает, — толпа. Все взбудоражены, растеряны. Короткие сборы, начальство командует марш. По Большой Калужской улице начинаем двигаться на восток. Идём, идем... стемнело, мы всё не останавливаемся. Мне — то что, мне — 21, а маме-то почти 50. Наверное, она устала, но ни одной жалобы, ни одного вздоха. Она была человеком необыкновенным. И любили её все, кто знал.

Прошагали всю ночь. К раннему утру оказались в Подольске. Дальше помню плохо. Начальство сумело организовать какой-то транспорт, довели нас до Коврова, оттуда — поездом в Горький. Здесь, на Волге, — огромная баржа, на следующие две недели ставшая нашим домом. Повезло, погода тёплая и сухая, большинство устроилось прямо на палубе под натянутыми тентами. Спали почти под открытым небом. Постелей с собою не было почти ни у кого, да и купить их было невозможно. Помню, на привокзальных рыночках по дороге из Коврова в Горький простыни продавали с рук по 200 рублей штука (!), у нас же с

Борис Цукерман. Война

втыкает конец палки в ишачий бок, произнося громкое «кх-кх». Процедура ритмически повторяется и, видимо, вполне привычна и седоку, и ишаку. Это, как мне казалось тогда, — едва ли не самое характерное для облика города. Такое видишь буквально на каждом шагу.

Конечно, с каждым днём я узнавал что-то новое: зашёл в САГУ — Среднеазиатский Государственный Университет, встретил вдруг Аню Фейгину, с которой на биофаке МГУ учился в одной группе. Очень уговаривала остаться. Но мне не хочется. Прослышал, что МГУ попал в Ашхабад. Нет, поеду туда!

Конечно, нам с мамой надо на что-то жить. С работой у неё пока устроено не всё. Пойду-ка, поищу что-нибудь. Молодёжи здесь много, как-то устраиваются. Вот и я попал в бригаду, свозящую в мусор золу после чистки топок, работающих на каменном угле. То, что на заводах вычистили из топок, лопатами грузим на большие машины, везём на площадку в отведенное место, где теми же лопатами всё это сбрасываем на землю.

Несколько поездок прошли нормально. Пыльно только очень. Но вот в последний раз попал я в историю, довольно неприятную. Золу ссыпали как всегда, но в этот раз машина наша заехала в самую середину кучи. Как слезть? Только прыгать в неё. Все спрыгнули нормально, перепачкались, конечно, а мне не повезло: попал ногами прямо в раскалённые ещё остатки угля, видимо, только что — из топки. Конечно, — ожог, краснота почти до колен, больно очень.

Что делать, появятся пузыри, ходить будет сложно, да и лечиться где?! Вспомнил: надо срочно полить мочой. Ужасно не хочется. Может, предрассудок это, но не хочется! Минутку, а в чём содержание целебного действия мочи? Скорее всего она действует как гипертонический раствор? Попробую-ка я солью. Соль и воду принесли мгновенно. Сделал раствор, промыл повреждённые места, оставил на них влажные тряпочки...

Дома мамуся — в волнении и расстройстве. Что будет? А на завтра — ни следа, будто ничего и не было. Значит, как действует моча, понял правильно. Приятно.

Как питались, не помню, конечно. От голода не погибали. Бывали в столовых. Помню однажды в меню: мясные блюда только из молодой конины. Взяли шашлык, оказалось вкусно. Уже потом узнал, мясо жеребёнка у казахов считается деликатесом.

Узнали случайно, что в какой-то городской гостинице нашли пристанище киношники из Москвы. Может и Эдя Шуб здесь? Гостиницу нашёл. Да, Эдя тут. Здорово!

Вечер. Поднимаюсь, стучусь в дверь номера, открывает она. Какая радость! Мы и в Москве-то не видались давно. А тут ... разговоры, вопросы, ахи и вздохи, время-то тревожное. Пытаюсь удержаться с ней на уровне оптимизма. Я — моложе, мне легче, да и вообще, отчаяние — не моя стихия.

Зашёл разговор о Гане, а тут — стук в дверь. «Да, войдите!» — входит Сергей Эйзенштейн. «Садитесь угощайтесь — говорит Эдя — вот творог, а это — местный сыр, очень вкусный

— нет, опасно, здесь — бруцеллёз

— что за глупости, ешьте!

— нет, бррцеллёз, бурррцеллёз!!!

— хорошо, Ваши предрассудки — при Вас. Ладно, обращается она ко мне, ты — о Гане? Конечно, человек он был талантливый, выдающийся, но кончил плохо. Почему? Из-за пьянства, только из-за пьянства. Мы расстались, он поступил на работу куда-то, но пить было не на что и какие-то деньги он растратил. Попал в тюрьму, так и погиб.

Вы с Аликом были детьми тогда, Гана очень любила, для вас он был образцом Человека. Во многом он действительно был таким. Поэтому о второй, порочной его стороне, ни я, ни мама

вам не говорили. Рассказываю тебе об этом впервые».

Слушать было мучительно! Эйзенштейн видимо понял это по выражению моего лица: «Знаете, при воспоминаниях о Гане у Эди очень велик личный эквивалент оценки этой, в действительности, необыкновенной, личности. Ган был не только талантлив. Фактически стоял он едва ли не в центре нашего кружка художников, киношников, литераторов, объединявшихся тогда вокруг журнала ЛЕФ. Всегда был наполнен новыми идеями, как правило, очень интересными, которые щедро раздавал направо-налево. Чего стоит одна из них — создавать тематические документальные кинофильмы, используя заснятую разными авторами кинохронику». И, обратившись к Эде: «Вы, госпожа Эсфирь Шуб, и Дзига Вертов сделали себе на этом имя. Не будем об этом забывать!»

Повернулся и вышел, оставив нам одни растрёпанные чувства.

У мамы в институте постепенно всё налаживается. Она уже полностью развернула свою лабораторию микрофотоанализа. Одна из её московских сотрудниц — здесь. Другую только что взяли на работу, и мама обучает её новым, довольно простыми методикам.

Появилось новое знакомство: очень заинтересовался разработанными мамой методами местный профессор Каныш Имантаевич Сатпаев. Этот умный, интересный человек, очень скоро станет Главным геологом Казахстана, а, спустя несколько лет, если не ошибаюсь, уже после войны, будет избран Президентом Казахской Академии Наук.

Меня уже не было в Алма-Ате, когда дальнейшее знакомство и общение с Каныш Имантаевичем и его милой женой, Таисией Алексеевной Кошкиной, украсило мамини одинокие будни в далёкой от дома стороне.

Не помню, откуда появилась у меня тогда малокалиберная винтовка. Помню лишь как страстно хотелось мне сходить с нею в горы поохотиться на фазанов, которые, как говорили мне, в изобилии разгуливают там, самоуверенно поглядывая по сторонам и подметая землю за собой длинными цвета яркой радуги хвостами. Слыхивал я, что охота там, вроде, не разрешена, но со жратвой-то, скажем прямо, неважно, а лакомство само по горам шатается. Справедливо это?

Приладил я к винтовке старую дворницкую метлу, замотал это всё тряпками и стал подниматься по длинной, пологой тропе. Вдруг из-за маленькой избушки, которую я не заметил даже, выходит огромного роста казах: «Зачем ружо нэсешь? — сказал он, указывая на то, что я наивно замаскировал под метёлку — Хочеш дальше итти, оставлай ружо здес. Подёш обратно, возмеш. Не хочеш, вали вниз, а то плохо будыт!»

Красота кругом необыкновенная — чем выше, тем краше. Сосны, простые и кедровые, огромные. Какой-то странный пушистый кустарник. Золотистая старая хвоя под ногами. Серая с блеском поверхность прячущихся в деревьях могучих скал. А ели... Мало того, что они удивительно хороши... Каждая — яркая индивидуальность со своими чертами облика и характера.

На самом верху, на высоте нескольких километров, в почти бесконечную даль уходит отвесная скалистая стена, едва ли не на всём протяжении покрытая сверкающими шапками снега. И всё это — на фоне ярко-голубого неба и ослепительно белых облаков, уютно прижавшихся к высоко лежащим крутым горным склонам.

Взгляд отвести невозможно!

Всё, винтовку оставляю, иду смотреть, любоваться, наслаждаться тем, что открывается моему жадному взгляду.

Уже на высоте 200-300 метров от подножия очевидной становится бурно кипящая жизнь. Масса ежей, незнакомые крупные грызуны, белки. Заяц вдруг выскочил буквально из-под ног. А птицы ... — масса их, кричащих разными голосами, летящих, сидящих на ветвях деревьев,

Борис Цукерман. Война

бегущих по земле. Это в октябре-то!

Но самое удивительное и красочное, конечно, фазаны. Серые скромные суetyащиеся фазаньи курочки и яркие петухи, будто одетые в бальное платье, которые, не боясь ничего, степенно разгуливают по лесу, посматривая на меня высокомерным взглядом. Да, до женского равноправия там с очевидностью ещё не дожили.

Впоследствии довелось мне видеть разные горы и горные хребты, издали и вблизи: В Туркмении, в Закарпатье, на Кавказе. Но Заилийский Алатау над Алма-Атой — яркая страница моей памяти. Краше этого не видел нигде и никогда.

Правильно огромный сторож-казах отобрал тогда у меня ружьё. Всё равно я не сумел бы сделать ни одного выстрела. Рука бы не поднялась.

Да, надо собираться. Мамуся, хотя и с грустью, но согласилась на мой отъезд. Вещей почти нет. Собрал их в небольшой рюкзак, наполовину пустой. Сверху привязал пьексы — старую лыжную кожаную обувь, старую по форме и конструкции, но новую по-существу, так как их никто никогда не надевал. И ясно, почему: для современного металлического лыжного крепления пьексы просто никуда не годятся. А ходить в них буду, если желанные рабочие ботинки получить или приобрести не сумею.

Прощаемся с грустью, но и с надеждой. Главное сейчас, чтобы брат, Алик, не попадал в критические ситуации. Он-то на войне с первого дня, а связь с ним по понятным причинам пока восстановить не удалось. Беспокойно.

Я — в поезде. Вагон общий, езда долгая. Когда он, Ашхабад?

Ташкент. Каков он сейчас, когда-то — «город хлебный»? Пока для поезда, которым ехал, он — конечная остановка. У меня — пересадка, ждать несколько часов.

Одиннадцать вечера. Зал ожидания, размером едва ли не с футбольное поле, полон. Люди лежат, сидят, стоят. Кое-кто, вроде меня, бродит. Сел и я, надоело, рюкзак — на колени. Где же пьексы?! Нет!! Срезал кто-то пока я бродил мечтательно? Встал, пошёл кругом, уже внимательно вглядываясь в каждого. Шпаны немало — конечно, её работа. Смотрю, почти на противоположном конце зала — пацан, лет 15-ти. Пьексы — рядом с ним. Конечно, это мои. Не могут быть другие: во-первых, фасон едва ли не прошлого века, сейчас их не только не носят, не помнят. Во-вторых, зимняя да ещё специальная обувь здесь, где и снега-то почти не знают, к тому же и сейчас, жаркой осенью. Конечно, пьексы — мои.

Потихоньку иду вокруг зала, по сторонам не смотрю, делаю вид, что прохожу мимо, но вдруг резко оборачиваюсь, хватаю пацана за грудки: «Ты что, с-сука, ботинки мои срезал? Рожу разобью!» Беру пьексы, встряхиваю его как следует, не торопясь, отхожу. Был я тогда сильный, но глупый, пацан-то, наверное, не один, мог я и «перо» под ребро заработать. Решили, видно, со мной не связываться. Повезло.

Мимо окон вагона однообразно проплывает голая степь, травы почти не видно, высохла. Редко — какие-то посёлки. Один лишь Самарканд — людный и красочный, даже здесь, в районе вокзала. На привокзальном рыночке покупаю самосад, как его называют здесь — «самаркандская махорка». Выделка никудышная: растёртые ладонями в мелочь высушенные табачные листья. Оттого и сигарку свернуть трудно, не держится в ней табак, высыпается, и горит она плохо — гаснет огонь. Но аромат — удивительный! Это искупает всё.

Очень жаль, что стояли недолго — выйти, город посмотреть, не удалось. А как хотелось! Ведь о прекрасном Самарканде — средоточии восточной культуры, читано много.

Пейзаж за окнами постепенно выцвечивается, травы нет и в помине, сухая, плоская, иногда — в трещинах земля. Подъезжаем к Ашхабаду.

Одноэтажное каменное здание вокзала, почти как в небольших старорусских городах. Ничего восточного, странно даже. Городок низкорослый. Народу на улицах мало, ничто особо не впечатляет. Сумерки. Тепло, но не жарко. Иду по неширокой улице в сторону Университета, адрес которого знаю. С обеих сторон — глинобитные толстостенные заборы — «дувалы» с побеленной бугристой поверхностью, дома позади лишь угадываются. Асфальтированные тротуары, вдоль них — часто посаженные деревья с красивыми шарообразными кронами и странным названием «карагач». Темнеет довольно быстро, это же юг, да ещё какой!

Вижу вдруг вдали тёмное, громадное, покачиваясь, движется навстречу. Что это? Ближе, ближе... Рослый туркмен, немолодой, с восточной растительностью на лице. Высоченный тяжёлый цилиндр темно-серой каракулевой папахи — на голове. Взгляд прямой, выражение лица строгое, почти угрожающее. Шапка с каждым шагом выразительно вздрагивает. Я для него не существую: проходит как мимо фонарного столба.

Ничего подобного увидеть не ожидал. Впечатление сильное. А меховая шапка сейчас, в такую погоду? Это уже Туркмения в чистом виде!

Впоследствии не раз встречал похожих и каждый раз — с тем же приподнятым чувством.

К зданию, где уютился Университет, подошёл довольно поздно. Металлическая решётка забора. Калитка заперта. Никого, ни одного человека. Что делать? Надо как-то устраиваться. Вдруг вижу: задумчиво бредёт по двору Василий Александрович Раков, зам. декана, наш любимый человек! При мыслях о биофаке его вспоминал я прежде всего. И вдруг он собственной персоной.

Увидев меня, обрадовался тоже. Он знал меня и относился хорошо, хоть был я всего второкурником.

Всё устроилось, жили мы, студенты, в трёхэтажном здании школы на краю города, у самых холмов Копет-Дагского предгорья, человек по десять в каждой классной комнате. Занятия проходили в других зданиях, главным образом, в районе, носившем название Кеши. Там же была и студенческая столовая.

Не стану излагать всё по порядку, лишь отдельные сохранившиеся в памяти кадры.

Зима, но, в общем, не холодно, прохладнее всего — по утрам, когда надо идти на занятия. От нашего дома к Кеши ближе всего — по холмам предгорья. Ходьбы с полчаса, идёшь и при каждом выдохе у тебя изо рта — облачко пара.

Со склона холмов видны частные подворья окраины города. На одном вдруг вижу: собираясь по делам, хозяин поднимает удобно улегшегося на ночь на земле верблюда. А тот не хочет, упрямо отворачивая гордо поднятую на длинной шее голову. Хозяин кричит, бьет непослушного вожжами... И вдруг... , приподнявшись на передние ноги, зверь издаёт дикий рёв, голова задрана вверх, пасть разинута, из неё — клубы дыма: на фоне только взошедшего солнца и ослепительно яркого неба всё предстаёт в виде чёрных силуэтов.

Впервые видел я живого настоящего Дьявола!

Вот уж 57 лет прошло, а сцена предо мной, будто было это вчера.

Конечно, появляются друзья. Часть — те, кого знал в Москве, ну и, конечно, другие, с разных кафедр и даже факультетов, ведь живём-то мы почти сообща. Тут — Инка Кедер-Степанова, Кот Эфрон, Мира Калецкая, будущие энтомологи Сашка Ланге (Варьон) и Наташка Тупикова (Варьона), Борька Кулаев, Арсений Проволович (Князь), Генька Гусев, Борька Самойлов, физик, в будущем — близкий друг, юная студентка истфака, беззащитная Оля Дашевская, которую я взял под свою опеку, и многие другие.

Стипендии, в общем, хватало. Обедали в студенческой столовой в Кешах, но позволяли себе иногда забежать даже в ресторан на улице Энгельса — угоститься рагу из джейрана или верблюжьими котлетами. Этого было в избытке. В первое время. Ну, а через пару

Борис Цукерман. Война

месяцев всё пошло на убыль. И в столовой, и в ресторане в меню остался лишь суп из расплззающихся чёрных клёцок. Со временем суп становился всё жиже, наесться им оказывалось всё труднее.

Благо, количество супа, которое разрешали купить, в нашей столовой не ограничивали. Начали брать по несколько тарелок, жижу сливали, для чего начальством в середину обеденного зала были поставлены вёдра. Оставались одни ржаные клёцки. Это было хорошо. Однако, чем далее, тем большее количество супа приходилось покупать, чтобы получить тарелку клёцок. Доходило до того, что некоторые обжоры, например, студент Истфака толстый Коля Смирнов, брали на обед по 120 порций (!).

Естественно, очереди приходилось ждать долго, иногда пару часов. Но есть-то хочется! Нужно терпеть. Конечно, начал появляться фольклор, студенты-то — народ остроумный.

Кеши было переименовано в «станцию переливания супов», (геологи в соответствии со своей терминологией называли «станцией обогащения супов»).

Стоящий перед тобой в очереди за супом — «супостат»

Пожирающий суп — «субъект»

Бранящиеся в очереди — «супруги» И т.д. , и т.п., всего не упомяну.

Наконец, наступило время, когда пришлось заботиться о еде всерьёз. На базаре доступна была только редька, её прозвали «ашхабадскими яблоками» и в изобилии — дыни. Попытки насытиться этим, особенно дынями, быстро потерпели неудачу: наевшись, ты становился подобием неуправляемого ЖРД (жидкостно-реактивного двигателя), выдавая «тридцать три струи, не считая мелких брызг».

Ходили в пустыню в поисках черепах. Долгие километры шли, поднимаясь и опускаясь по песчаным волнам-дюнам и барханам, встречая множество гладких ящериц — «агам», юрко от нас убежавших. Иногда натыкались на других, шершавых с грубой чешуей на поверхности тела и острым гребнем на спине — истинное подобие страшных доисторических динозавров в виде миниатюрной их модели. Эти ничего не боялись, встречали нас лицом к лицу, принимая угрожающую позу, надувая защёчные мешки и дико шипя. Они дёргались навстречу, делая вид, что бросятся и разорвут нас. Но мы-то знали, что «ушастые круглоголовки» безопасны и с удовольствием наблюдали их интересное представление.

Конечно, столь беззаботно можно было относиться далеко не ко всем обитателям пустыни. Осторожным надо было быть при случайной встрече с вараном — метровой величины зубастым «крокодиллом пустыни», очень ядовитыми змеями «коброй», «гюрзой» и «эффой», огромным, с ладонь, прыгучим пауком «каракуртом», ядовитый укус которого мог замертво свалить большого верблюда. Были среди нас, правда, и отчаянные ребята: помню, как Борька Кулаев, схватив ползущую кобру за кончик хвоста, начал изо всей силы крутить её над своей головой. Пару минут он чувствовал торжество победы. Но кобра, преодолевая центробежную силу, начала постепенно приближать голову к его руке. Заметив это, Борис крутанул её в последний раз и бросил метров на двадцать в сторону. Хорошо, ни в кого не попал, зрителей скопилось немало.

Продуктовая экспедиция в пустыню оканчивалась тем, что рюкзаки набивали черепахами и доволакивали домой. Там панцири с великим трудом разбивали камнями, варили черепаховый суп. Казалось бы, что лучше? Деликатес! На деле же КПД этой работы был удручающе мал: съедобны-то лишь маленькие лапки, шейка с торчащей на ней головкой да кусочек основания короткого хвостика.

Иногда внутри разбитого панциря оказывались вдруг черепашьи яйца, одни насыщенные салом желтки. Это был праздник, их тут же превращали в жирный гоголь-моголь, перетирая с сахаром, который мы получали по две чайные ложечки в день и который почти не

расходовали, так как не было чая, да и пить его было не с чем.

В пустыне с завистью смотрели на сусликов, которые неподвижными столбиками стояли у нор своих, ныряя туда при малейшей опасности. Охотиться было нечем. Пару раз по доброте душевной угостил нас ими знаменитый зоолог, профессор Александр Николаевич Формозов, у которого была малокалиберка. Вкуснота... словами не описать. Но нас много, а Формозов один. Начни же он заботиться обо всех, пришлось бы забыть о науке и заняться только этим. Не ясно, правда, хватило ли бы сусликов на всех голодных студентов?

Да, еда, прямо скажем, оставалась нелёгкой проблемой. Попытки найти съедобные растения успехом не увенчались. Соблазнились собакой. Пара их паслась на обедках в столовой в Кешах. Одну мы с Сашкой Смирновым прирезали, я её освежевал, отрезал лапки, осталась голая тушка. Случайно это увидела мать одной из студенток, жившая вместе с нами в здании школы. «Где вы достали такого замечательного барашка? — Как где, здесь на барахолке, вон там. Видите?» Она побежала искать, а я обратился к нашему доценту, анатому, Максиму Григорьевичу Левину, очень приятному человеку, с просьбой одолжить у сестры для нас мясорубку. Он принёс её, мы сделали фарш и приготовили 33 котлеты. Было замечательно, ведь это 2 апреля, день рождения Инки Кедр. Угощение первоклассное!

Слава богу, сестра Максима Григорьевича не знала, для чего нам мясорубка. Узнала бы, наверное, запустила ей в мою голову.

Такое угощение, конечно, — случай исключительный.

Хлеб мы получали регулярно по карточкам в булочной по 500 грамм в день. Что за порция для взрослого человека? Конечно, мало, потому что больше почти ничего не было; другие продукты по карточкам выдавали очень редко. Что делать, подышать с голоду? Шли на жульничество: хлеб покупали дополнительно по поддельным талонам, которые рисовали от руки. Работа нелёгкая, но получалось всё-таки, а овчинка стоила выделки! Позволяли себе даже поразвратничать иногда: в булочной по тем же карточкам вместо порции хлеба можно было купить 400 грамм «кяты карабахской». А это Бог знает что: сладкая толстая лепёшка, сделанная из муки, масла и яиц! Вкуснота немыслимая! Невозможно представить, что такое бывает!!

Конечно, поймали бы нас, плохо было бы. Но проходило как-то.

Профессора и преподаватели жили несколько лучше: у них был специальный паёк «УДП» (усиленное дополнительное питание), которое в жизни расшифровывали несколько иначе: «Умрёшь днём позже». Но всё-таки днём позже, это уже кое-что!

Как учились, помню плохо, твёрдого расписания не было, лекции назначали, отменяли, аппаратура для практических занятий была в дефиците. Но экзамены принимали строго, без скидок. К ним по всем предметам мы с Инкой Кедр готовились вместе, она умная, порядочная, безо всяких капризов и забубонов, настоящий хороший товарищ.

Самый трудный экзамен — «Низшие растения», который принимал Лев Иванович Курсанов, профессор, известный своими высокими требованиями и отсутствием какой бы то ни было снисходительности. Получить у него четвёрку считалось победой. Мы с Инкой получили по пятёрке.

Наступало лето, стало жарко. Самое трудное — ночь. Спишь почти голым, всё равно задыхаешься. Наиболее слабонервные бежали к колодцу, смачивали простыни и спали под ними, пока те не высыхали. Затем снова — к колодцу. Мука!

Нам с Инкой предложили летом участвовать в «комплексной Копет-Дагской экспедиции», которую организовал Университет совместно с Туркменской Академией Наук. Мы согласились, были приняты в состав зоологического отдела экспедиции, которым руководил профессор Лев Александрович Зенкевич. Да, да, тот самый Зенкевич, который на первом

Борис Цукерман. Война

курсе два семестра читал «Зоологию беспозвоночных» — курс, который все мы слушали, как увлекательный роман. Зенкевич, в которого я был настолько влюблён, что стащил на память его фотографию со стенда «Лучшие профессора факультета», невольно доставив ему серьёзное огорчение: он был уверен, что фото содрали его недоброжелатели, те, кто ненавидел его аристократическое прошлое и не хотел, чтобы его квалифицировали как лучшего.

Мы с Инкой вместе с нашим непосредственным руководителем, бородатым доцентом Евгением Семёновичем Птушенко, составили орнитологическую группу экспедиции. У Птушенко была небольшая двухстволка 24 калибра, мне выхлопотали разрешение на малокалиберную винтовку. С этим оружием мы двинулись в горы собирать орнитологическую коллекцию, слушать и подсчитывать поющие птичьи голоса, определять по ним авторскую принадлежность, то есть, узнавать, кто певун?

Первый же поход в горы привёл нас в состояние полного торжества. Попали в Фирюзу, курортное место, столь же знаменитое у ашхабадцев, как у москвичей Крым или Сочи. Мы сразу поняли, чем: Ашхабад раскалён, здесь — прохлада. А дело лишь в том, что Фирюза — на высоте 800 метров над уровнем моря. Да и трава здесь растёт, которой в Ашхабаде и в помине нет: лишь в марте пустыня покрывается ковром цветов, тюльпанов и маков, к 15-му же апреля выгорает всё. Как память о прошлой растительной жизни, остаётся в пустыне лишь «перекати поле» — лёгкие высохшие скелетики прошлых кустарничков, гоняемые ветерком по пустыне и улицам города.

Вся наша дальнейшая жизнь проходила практически в горах, в диких местах между пограничными заставами и редкими маленькими посёлками. Естественно, доступ наш на Государственную границу был официально разрешен.

Работали много: ходили, слушали, вели протоколы наблюдений, стреляли птиц и птичек, снимали шкурки и делали подобие чучел для коллекции, которые в зоологии называются «тушками». Работа нас по-настоящему увлекала. К тому же — потрясающие красоты горных пейзажей, удивительные растения и животные. Была решена и проблема питания: все подстреленные птахи, начиная от сизоворонок и удонов, кончая жаворонками и соловьями, шли нам в пищу. Все птицы, включая ворон, оказались не только съедобными, даже вкусными. Единственное исключение — орёл. Мы подстрелили его, красавца, но, только вскрыли живот, как разнёсся отвратительный запах падали. Видимо, не только грифы и кондоры, а и орлы этой пище не чужды.

Нередко мы жили небольшими лагерями в маленьких палатках в близком соседстве с начальством. Не всегда соседство это было приятным: Зенкевича опекали две дамы — доцентши, устраивая их общий быт. Иногда приглашали к себе и Птушенко. Их снабжали едой совсем другого качества, чем нас. Зная это, они уплетали её, не думая нас даже угостить. Признаться, мою влюблённость в Зенкевича это малость поубавило. Естественно, в отместку мы с Инкой из наших охотничьих трофеев не предложили им ничего, ни разу.

А сейчас — некоторые из запомнившихся сцен.

Мы в деревушке Гермаб, собираемся в экспедицию на гору Душак, вершина которой — 3000 метров, — самая высокая точка Копет-Дага. Чтобы не заблудиться, нужен проводник. Посылают с нами мальчишку лет 16-ти. Мать печёт ему на дорогу хлеб — лаваш. В середине двора в землю врыта печь, с широким невысоким куполом, в середине которого смотрит в небо почти метрового диаметра отверстие. Через него видно, как на дне печи пылает огонь.

Мать берет комок теста, вытягивает руки перед собой. Несколько почти неуловимых круговых движений и в руках — уже не комок, а тонко раскатанный плоский овальный блин. Это — как чудо, как номер фокусника на эстраде цирка. Блин она укладывает на внутреннюю поверхность руки, погружает руку в пылающую печь и с размаху прилепляет его

к внутренней поверхности купола. Теперь — только ждать.

Видно, того теста, что было, оказалось недостаточно, надо месить новое. И тут... юбка задирается до ... чёрт знает чего. Обнажено загорелое бедро, на нём разминется и раскатывается новая порция. Быстрые привычные движения, вся процедура занимает минут пятнадцать. С интересом слежу за этим. Вижу вдруг: по мере приготовления теста бедро светлеет... Наконец, на передней его поверхности — «загара» как не бывало. Остался — лишь на частях ноги, к приготовлению теста отношения не имевшим. Впечатляет.

Удивилась, даже, пожалуй, обиделась хозяйка, когда я попробовать готовый лаваш, хоть и вежливо, но отказался.

Мы уже довольно высоко. Склоны покрыты обильной растительностью, трава, мхи и лишайники, древовидный можжевельник — арча: карандашное дерево. Смотрим на него, как на драгоценность. На сотни метров вниз проваливаются крутые обрывы, дна почти не видно, чаще всего оно скрыто в далёкой голубоватой дымке. Стены обрывов — скалы, серые, изъеденные временем. Я не боюсь высоты, стою на краю километровой глубины ущелья. На противоположной, почти отвесной, его стене с карниза на карниз прыгают горные бараны — архары с огромными загнутыми назад в кольцо рогами. Откуда такая уверенность в движениях, ведь крыльев в запасе у них нет?! Смотришь, не удивишься.

А птиц разных тысячи: попискивают, чирикают, издают мелодические трели, каркают или зловеще молчат. Они прыгают, порхают, стрелою пронзая пространство, прочерчивают в небе яркие цветные полосы; парят, выискивая добычу, и, найдя, камнем падают на неё.

Мы слушаем, выслеживаем, прилежно ведём протокольные тетради, но для нас это не только работа, не только наука, это — увлечение и радость от красоты и совершенной необыкновенности.

Птиц подстреливаем не только для коллекции, для поддержания собственных сил тоже. Главный объект охоты — дикие голуби — горлинки, которые здесь нередки, но главный предмет охотничьего вождения — горные куропатки, «кеклики». Серенькие, толстенькие, летать не могут, только бегают и прыгают. Они очень сторожки: увидев тебя, даже совсем издалека, легко вспрыгивают на выступы скалы — вверх, вверх..., умело скрываясь за кустиками травы, исчезая в расщелинах камней. Редко удавалось их добыть, тогда был пир для всех нас троих.

Но что такое в обед наши обычные птицы? Раз, два, прожевал, и следа уже нет, одна лишь грустная тень прошедшей вкусноты. Надо попробовать поохотиться на архаров. Конечно, не на огромного самца, для него малокалиберка — игрушка, на ягнёнка, конечно. Сидел, готовил разрывные пули «дум-дум», бритвочкой делал тонкие глубокие разрезы передней поверхности свинцовых пулек, чтобы, попав в объект, они разлетались на части, нанося тяжёлые повреждения.

И вот, в четыре утра с винтовкой наперевес отправляюсь от нашего горного лагеря ещё выше в надежде где-нибудь да встретить хотя бы небольшое стадо. Предохранителя на винтовке нет, вместо него, чтобы не было случайного выстрела, использую простой приём: вкладываю в ствол патрон, но затвор довожу до конца при нажатом спусковом крючке. Теперь, нажимай крючок — не нажимай, выстрела не будет. Хочешь сделать выстрел, взведи затвор снова, но потихоньку, чтобы не выбросить вложенный в ствол патрон, как это происходит со стреляной гильзой.

Сумеречно, прохладно. Заря на востоке только появляется. Поднимаюсь по каменистым тропам в зарослях ели и арчи в закоулках между выступающими скалами, перешагивая через бороздящие склон канавы. То и дело из-под ног срываются птицы. В круглой долинке подо мной увидел вдруг небольшое стадо диких свиней и снова позавидовал пограничникам, в руках у которых — автоматы. На кабанов это оружие в самый раз. Но никто на них не

Борис Цукерман. Война

охотится, страна-то исламская, есть свинину запрещено! Так свиньи и поедают безнаказанно крестьянские посевы. Ну, а мои пульки их только пощекочут. Жаль.

Ступаю тихо, чтобы дичь не спугнуть, попадаю в полутёмную круглый лесной зал. Скалистые стены густо поросли деревьями. Не вижу, чувствую, они здесь, что-то дышит. Вдруг в просвете единственного «окна» на фоне уже светлого неба метрах в пятнадцати от меня как из ничего возникла и застыла могучая фигура архара с закрученными назад рогами. А кругом, вот они — самки с тонкими короткими рожками и безрогие ягнята, небольшое стадо, голов 12. Не слишком торопясь, они по очереди начинают впрыгивать в этот оконный просвет, за которым моментально исчезали.

Я рванул винтовку вверх, взвёл затвор, но так сильно был взведен сам, что, не рассчитав движения, выбросил вон заряженную пулю. Вторую — из карманчика рубашки извлёк мгновенно. Однако, досылая затвор вперёд, опять машинально нажал спусковой крючок, будто не стрелять собирался, а вновь ставил винтовку на предохранитель.

Вся семья, где-то около 12 особей, за эти секунды успела сбежать. Глава её, застыв как изваяние, терпеливо ждал последнего. Его окаменевший профиль до сих пор — перед моими глазами. Ни одного выстрела сделать я так и не успел. (Далее следует яркая, но совершенно неформальная лексика!).

В это же окно выскочил за ними и я, ожидая увидеть убежавших, послать выстрел вдогонку, но неожиданно открылся гладкий пологий спуск и — никого, ни следа. Вроде и спрятаться некуда, где же они?!

Легко представить досаду и острое ощущение собственного кретинизма!

Обратно шёл злой, почти не смотря по сторонам. Вдруг увидел нечаянно: кеклик впереди, где-то метрах в 150. Заметил меня и уже потихоньку вспрыгивает вверх. Я со злостью вскидываю винтовку как дробовик, делаю выстрел и вдруг ... кеклик отделяется от скалы и, беспомощно раскинув крылья, падает. На таком расстоянии, почти не целясь ... невероятно!

Подбегаю к нему, поднимаю, разрывная пуля, предназначенная для барашка, почти разнесла его на части.

Да, это как утешение за неудачную охоту. Всё-таки у нас с Инкой сегодня — пир.

Запомнился последний этап нашей экспедиции — на уровне плоскогорья Фирюза-Чули.

В основном, это освоенный, хотя нежилой, район с большими колхозными фруктовыми садами. Да, почти нежилой для людей, но с огромным и разнообразным населением птичьим. Работы, особенно с утра, — невпроворот, а вот с водой, питанием, да и с ночёвкой — сложновато. Спали просто на земле — в круглых, плоских, неглубоких, но широких ямах, выкопанных вокруг стволов фруктовых деревьев из каких-то агрономических соображений. Голову клали на невысокий земляной крутой борт ямы как на подушку. В общем, спалось, хотя вставать и начинать работу приходилось вместе с птицами, до рассвета.

Были голодны. Попав в огромный фруктовый сад, просто одурели, увидев немыслимый урожай абрикосов, персиков ... и каких! Идём километры — ни одного человека. Мы — люди воспитанные, с деревьев не рвём, собираем паданцы ярких оранжевых абрикосов такой вкусноты, словами не описать!

Настроение отличное, фрукты видим впервые за этот год, испытываем редкое сейчас чувство благородной сытости. Обязательно надо купить их и домой принести. Там же друзья, голодные, как мы, и вообще забывшие, что такое абрикосы.

Колхозная контора — в 12-ти километрах, это мы знаем, дорога туда — непрерывный фруктовый сад. Терпеливо набираем километры, угощаясь уже не абрикосами, а сказочными персиками. Первого человека увидели у самой конторы — ветхой деревянной

избы. Заходим. «Здравствуйте, мы бы хотели купить фрукты... Что, собрать некому? Не беспокойтесь, нарвём мы сами, принесём сюда, вам — только взвесить и взять с нас деньги».

Отвечают: «Продать ничего не можем, фрукты колхозные. Что с ними делать, правление будет решать потом.

— Посмотрите же на деревья и под них! Ветки ломаются, паданцев масса, сколько фруктов погибнет. Мы, хоть микроскопическую часть, всё же в дело употребим, польза и для колхоза, и для нас!!

— Это не наше дело, решает колхоз, так что просите не просите — не продадим».

Вот так. Такая тупость, такая досада! Ладно, накажем вас, идиоты. Не хотите продать, унесём сами, без спроса, даром. Добро всё равно пропадает!

Утром будем спускаться в город. Ночуем опять в саду, подъём до рассвета, нельзя, чтобы кто-нибудь даже случайно увидел, как мы воруем колхозное добро.

Ещё ночь, даже птицы не начали просыпаться. Рюкзаки — в руках, тяжёлые гроздь персиков искать не надо, они сами просятся в руки. Плоды выбираем на ощупь, рвать-то надо зрелые. Работа идёт быстро, к рассвету рюкзаки полные. В путь!

Спуск легче подъёма, всего — часа четыре. По дороге обмениваемся впечатлениями об экспедиции и наших последних днях. Где-то к одиннадцати мы вблизи города. Довольно жарко. Мы с Инкой чуть отстали от Птушенко, о чём-то посеCRETничать надо было ... и вдруг видим: по его брюкам из-под рюкзака во всю его ширину — толстая медленно стекающая жирная полоса, отсвечивающая яркими бликами при каждом шаге.

«Евгений Семёнович, одну минуту, что это у вас на брюках сзади? Снимите рюкзак. Надо же, это персики! Кого бы попросить Вас облизать?»

— А вы не подшучивайте, снимите-ка свои рюкзаки ... — Конечно, облизывать — то нужно всех троих!»

А говорят, Бога нет. Кто же тогда наказал нас так за воровство?!

Осень 1942 года. Война — в разгаре, но под Москвой немцев уже нет. Университетское начальство обдумывает перспективу возвращения домой. Во всяком случае, различные слухи назойливо ползут. Узнали, что новым ректором в Москве назначен некий Галкин. Мы, молодые, никогда его не видели и о нём не слышали, но старшие говорят о нём плохо. Даже песенка такая появилась модная, припев к куплетам в которой заканчивался словами:

«Всем известно уж давно,

Что всплывает вверх ... Галкин»

Ну, а к августу (по-моему, я не ошибаюсь) решение о реэвакуации действительно принято. Первый её этап — переезд в Свердловск. Будет два эшелона. Мы, биофак, едем первым. Руководит всем уважаемый профессор, Степан Иванович Кулаев, который в Ашхабаде исполнял обязанности ректора.

Сентябрь 1942. Московский Университет из Ашхабада в Свердловск прибыл. Ничем особенным эта пара недель дороги примечательна не была (конечно, если мне не изменяет память, хранящая эти события более 55 лет): обычная тягучая дорога времён войны.

Одна из долгих остановок в пути — Самарканд. На многолюдном привокзальном рынке опять покупаю ароматнейшую самаркандскую «махорку» и друзьям советую то же. Поезд стоит, мы сидим, покуриваем. Идёт нормальный студенческий трёп. Вдруг с перрона в тамбур поднимается майор ветеринарной службы. Оказывается, свои эвакуационные будни Ленинградская Военно-ветеринарная Академия проводит там.

Борис Цукерман. Война

В руках у майора — огромная чарджуйская дыня, едва её тащит. А аромат.... Не успел войти, густой сладкий дух мгновенно наполнил все закоулки до самого конца длинного пассажирского вагона. Мы, привыкшие в Ашхабаде к подобным чудесам, и то с удивлением взирали на этот уникальный экземпляр.

Так вышло, что, добравшись до нашего купе, майор, к нашему удивлению, спросил разрешения и сел рядом. Дыню, оказалось, везет он в подарок друзьям, езды до которых несколько часов. Естественно, завязался разговор. Интересно рассказывал он о том, чем они занимаются и о самом городе, по-существу, — городе-музее, насыщенном удивительными созданиями древней восточной культуры.

Вдруг взгляд его упал на мою малокалиберную винтовку, стоявшую на сиденьи, скромно прислонённую к стенке. «Чья игрушка? — Моя, — отвечаю, — только не игрушка это, ТОЗ-8, бьёт хорошо, зоологические коллекции в экспедиции по Копет-Дагу мы собирали с её помощью.

— Бросьте болтать, эта пукалка бьёт не далее 20 шагов!

— Да нет, смотрите: на прицельной рамке — 250 метров

— Знаете что, морочьте голову кому хотите, но не мне. Я-то знаю!

— Ладно, хотите пари? — говорю я. — Если на 150 метров выстрел достанет, Ваша дыня станет моею. Нет — покупаю Вам вторую такую же.

— Хорошо, по рукам».

Ждём остановки поезда, это бывает часто и стоим подолгу, даже — в поле чистом. Но вот ход замедляется, тише, тише... Стоп. Сашка Смирнов, длинный студент-историк, один из свидетелей нашего спора, хватает огромную дыню, бежит с нею по степи. Метрах в 130 останавливается, ставит дыню вертикально в ямку, опирая её на лежащий сзади камень, сам отбегает в сторону. Я устраиваюсь в уборной, где удобно опереть ложе малокалиберки на наполовину опущенный переплёт окна. Прицеливаюсь...

Нелегко: дыня, хоть и большая, но далеко, попасть в неё, прямо скажем, нелегко. Отсюда дыня выглядит величиной с пятак.

Волнуюсь. С каждым ударом сердца конец ствола слегка подпрыгивает. Тук-тук-тук... Могу и промазать.

Задерживаю дыхание... прицел... выстрел. Сашка бежит к дыне, поднимает её, медленно поворачивает, рассматривает... молчит. Неужели промазал?!... Вдруг — торжествующий крик: «Е.е.е..сть!!!» Дыню — в обнимку, бегом — обратно. Оказалось, дырочка от пули впереди сразу же заплыла, дыня-то мягкая, сочная. А с задней стороны пулька вырвала небольшую воронку.

Пари выиграно. И я и свидетели — весь вагон — торжествуем. В руках у кого-то сразу нож: дыню на всеобщее съедение. По хорошему ломтю достаётся всем, угощаем и майора. Понимаю, что угощение это, в какой-то мере, — издевательство. Но ничего не поделаешь, вежливость требует. Нужно отдать ему должное: вёл себя, как аристократ.

Дыня же, вкус... потрясающий!

А чего я так волновался? Речь-то шла о винтовке, не обо мне, никто числом выстрелов меня не ограничивал. Я же почему-то решил, что выстрел у меня — единственный. Что ж, бывает и так...

Дни за днями. Дорога долгая, едем голодными, есть почти нечего, дают, но очень мало. А тут, на маленьких станциях стоим среди вокзальных рынков, где продают всякую всячину, слюнки текут, но купить-то не на что.

А куры нахальные чёртовы снуют во множестве между ног. Может пристрелить потихоньку такую, в вагоне по дороге приготовим?! Рука не поднялась. А на остановках в степи постреливал всё-таки ворон, сорок, грачей и всякую другую, совсем не охотничью птицу, которую наши девчонки готовили, но которая студенческой братве — на один зуб.

Наконец, Свердловск. Большой город. От такого в далёком Ашхабаде мы успели отвыкнуть. Свердловский Политехнический институт. Огромный пустой зал, плотно заставленный большими ящиками с привезенным нами университетским имуществом. Среди этих вещей мы живём, на этих ящиках спим. Но это — самое начало жизни здесь. Её продолжения я уже не застал, так как буквально через пару недель был призван в армию. Едва успел за эти дни повидать бабушку, которая была здесь в эвакуации вместе с сыном, Мишей, и его женой, художницей, Фридой Рогинской, у которой Миша был под каблуком и которую бабушка терпеть не могла. Бедная бабушка!

В армию загремел я тогда вместе с Котом Эфроном, с которым вместе и попали в «Таллинское военно-пехотное училище», пребывавшем тоже в эвакуации, в городе Тюмени, к северу от Свердловска.

А армия оказалась совсем другим миром, ни в одном измерении не похожим на тот, в котором мы выросли, были воспитаны, сформировались как личности. Именно уничтожение личности в каждом из нас оказалось здесь первой и главнейшей задачей. Как иначе добиться безвольного и безусловного послушания с неременным отсутствием даже минимально критического отношения к любому получаемому приказу?!

Командир нашей, 18-й, роты, старший лейтенант Ерёмин, до мозга костей — ограниченный солдафон. У нас он — Царь и Бог. Говорит мало, после каждого слова замыкая рот, как на замочек. Меня назначил редактором ротной стенгазеты и воспитывал поэтому не всегда теми методами, что других. Был в нашей роте в одном из отделений некий Егоров, селянин, неловкий, непонятливый, дурак дураком. Утром по команде «ПОДЪЁМ!!» никогда за 40 секунд не успевал одеться, заправить койку и стать в строй. Обязательно тащились за ним плохо завязанные шнурки ботинок или незаправленные обмотки. В строю часто шел не в ногу, в строевой песне фальшивил. Конечно, один за другим получал в наказание наряды вне очереди. Был он, что называется, «доходяга».

На нём и других солдатах Еремин оттачивал свой метод психологической диагностики: «Дать . . наряд . . вне . очереди . . и . смотреть . . как . . реагирует. Потом . . — три . наряда, . . лучше . . — ни . . за что, и опять . . смотреть . как . . реагирует!» Губы смыкаются почти после каждого слова, взгляд — пронзительно злой. Как иначе сломить волю солдата, чтобы и наказание он принимал как подарок, чтобы знал: не поступишь так, будет хуже.

Наш старшина Скворцов — его верный ученик.

6 часов утра. Истошный крик дневального: «Подъёе-ом!!!» Сразу оживает огромный полутёмный жилой зал роты, почти вплотную занятый двухэтажными конструкциями 120-ти коек. Мелькают руки, ноги, бриджи, портянки, гимнастёрки, поясные ремни, обмотки. На всё — считанные минуты, а они несутся как сумасшедшие. Но каждый знает: не хочешь связываться со старшиной, опережай их. Поэтому несёмся как сумасшедшие и мы.

Далее в строю — на зарядку, на умывание, наконец, команда: «Выходи строиться!»

Мы — в столовую. Бежим, занимаем в строю свои места. Старшина: «Рравняйсь! Смиррнаа!!» ... Уходит за командиром взвода, лейтенантом, возвращается в наш дом (на армейском языке — «расположение»).

Стоим, не дыша. Мороз около 30 градусов, мы — без шинелей, без головных уборов, до столовой-то всего — метров двести. Стоим, стоим, проходит пять, десять минут — никого. Окоченели, бьёт дрожь. «Стоять смирно» невозможно. Наконец, выходят:

Борис Цукерман. Война

Строгий оклик: «Какая команда была?!!!» — все замирают. «Рравня-айсь! Смиррнаа!!!
Здравствуйте, товарищи курсанты! — Здравия желаем, товарищ лейтенант!!

— С места с песней в столовую шаго-ом ма-аррш!!» Какая песня, зуб на зуб не попадает!
Маршируем — «раз, два, три-и ... раз два, три-и...»

«Запева-ай!» — молчим. Ах так: «Прра-авое плечо вперёд ма-аррш!» — Строй поворачивается, выходим за пределы военного училища. Теперь, чтобы попасть в столовую, придётся обогнуть всю территорию части, где-то около пяти километров, почти час быстрой ходьбы. Да, быстрой, иначе нельзя, замёрзнем окончательно, одеты у нас только лейтенант и старшина, мы-то — лишь в гимнастёрках!

«Запева-ай!» — сопротивление сломано:

... — Гремя огнём, сверкая блеском стали

Идут танкисты в яростный поход,

Когда нас в бой пошлёт товарищ Ста-алин

И первый маршал в бой нас поведё-ёт...

Наконец, мы в столовой: огромный зал под низкой деревянной крышей. Каждому взводу (40 человек) — свой стол. Садимся вокруг, быстро разбираем хлебово — единственное наше блюдо и в максимальном темпе поглощаем его, иначе до команды «Вста-ать, выходи строиться!!!» можешь не успеть. Для военной братвы завершение обеда практически всегда звучит в виде следующего диалога:

«Покушали?»

— Поели.

— Наелись?»

— Нет.

— Вста-ать, выходи строиться!!!»

Вот так — воспитание в действии. А попробуй что-нибудь возразить тому же старшине Скворцову — немедленно — команда: «Лечь» — ты бросаешься лицом в снег — тут же: «Вста-ать!» — вскакиваешь. А дальше — «Лечь — встать!», «Лечь — встать!», «Лечь — встать!», «Лечь — встать!» Чаше и чаще и так — до посинения. Не вздумай выразить хоть тень протеста, тут же получишь 5 нарядов вне очереди — чистить солдатскую уборную. Будешь делить это удовольствие с доходягой — Егоровым.

Потом узнал: те же методы — в тюрьге.

Ежедневно — занятия. Без ума, чистая зубрёжка. Устройство винтовки. Всегда одинаково: «Затвор состоит из семи частей...». А далее — воинские уставы: строевой, дисциплинарный, боевой устав пехоты; учебные стрельбы; занятия тактикой по 8 часов на улице среди холмов и долин.

Мы — в шинелишках из английского портяночного сукна, в шлемах будёновских, в ботиночках с обмотками при температуре 30 градусов и ниже мёрзнем страшно! Устаём предельно, а вернёшься в расположение, первое дело — чистка оружия. И неважно, стреляли сегодня или нет, это — ежедневный ритуал с таким же издевательским контролем старшины, как и во всём остальном.

Но вот странно: холодно, голодно, мерзко, а не болеем, никто не болеет. И не только у нас, по всей стране. Редко, кто тогда обращал на это серьёзное внимание. Потом стало очевидно: это война. Война собрала всех нас, здоровых и больных, всех объединила, всех мобилизовала и всем стало не до себя. Родина, защитит её, уничтожит зловещую

фашистскую гадину, вот главное! И это не слова, не лживый лозунг, БЫЛО ТАК. Медицинская статистика тому свидетель.

Попробуй теперь усомниться в том, что одна лишь психологическая ситуация, пусть продиктованная чрезвычайными внешними событиями, может оказать решающее влияние на жизнь и здоровье.

Но это — уже из другой оперы.